

Имя нижекамского поэта Евгения Морозова вошло в русскую поэзию в середине десятих, вошло с достоинством, взволнованно, густо — тремя книгами, вышедшими с перерывом в два-три года. Как выразился сам поэт, «смыслы стихов — это попытки дать имя бездне. Чем бы ты ни назвал её, в какие бы темы ни обратил — войну, любовь, гражданственность, философию, пейзаж — ты придаёшь ей очертания, ловишь гул настроений, а сама она то расширяется в тебе, то зовёт откуда-то сбоку, сверху, со стороны». Энергетику стихов Морозова замечают многие, после прочтения она остаётся в твоём небе, как реактивный след самолёта. Недаром критик Евгений Абдуллаев, говоря о творчестве поэта, употребил своеобразную «техническую» метафору: «Стих у Морозова сделан грубо и плотно и, что называется, хорошо разогрет и разогнан». «Виной» ли тому филологическое образование автора, стремящегося к чёткости формы и благородству слова, но каждая строка «приручена» им до последней буквы, запятой, точки. Но при этом исповедь поэта, низавшего себя на строки (практически распявшего себя на них), и прочтение, угадывание, сопереживание этой исповеди читателем происходят одно-моментно, в режиме онлайн. Поэт ведёт за собой читателя, ни на секунду не оставляя его, не боясь честно показать ему самые сокровенные уголки души...

Галина Булатова

* * *

Длинный локон, упав ненароком с виска,
зачерпнёт наугад океан,
и покатится небо волны до песка —
до земли, до последних земель.

И ты выйдешь на берег, где чьи-то следы
смыты тысячи раз на веку,
и, одетая в стыд из прекрасной воды,
будешь просто идти по песку.

Если руки протянуты, пусть и не взять,
если свет да испуг впереди,
это солнце и ветер и небо истрать,
но по берегу-кругу иди,

чтобы даль простиралась, мощнела волна,
чтобы помнилось и донеслось,
как едва родилась ты из пены, из сна,
из опущенных в воду волос.

Начиная и прожитый воздух дела
на созвездья, ты знаешь ясней,
что несчастье — земля
да и счастье — земля,
и зачем всё кончается в ней,

что с тобою и я, как ни жди корабли,
соглашусь не в уме, так в судьбе —
будто нет ничего, кроме этой земли
и блестящей воды на тебе.

Я останусь последним из тех, кто бы мог
против этого, как ни мудри,
чтоб любить притяжение — почву для ног
и волнение — небо внутри.

* * *

Та дорога с гулким небом,
по какой спешил пешком
в магазин за чёрным хлебом
и за белым молоком,

в пору вести голубиной,
в эру детства и родства —
ты такой казалась длинной
и понятною едва.

И скучал, и уставал я
от тебя, терпя пока,
а когда подрос, то стала
уж не та, уж коротка.

За какие-то минуты
ностальгической ходьбы
прохожу тебя я, будто
вылетаю из трубы.

Видю — стены и балконы,
лица, ветви, провода;
всё про то, что неуклонно
на глазах и навсегда...

Знаю: нет возврата в корни,
в край не начатых скорбей,
где трава всего зелёней
и на небе голубей.

Ты лишь здесь, где надо Бога,
где как вспомним — так рискнём,
где за хлебушком дорога
всё молочней с каждым днём.

* * *

Скатилась звезда на ладонь человеку,
и просто он ей говорит:
«Ты с неба, а небо похоже на реку,
что каждую ночь горит.

Ну разве мы в счастье своём виноваты,
что болен и свят твой огонь?
Горевшая в небе, сейчас у меня ты,
мою прожигая ладонь...»

Звезда ничего ему не говорила,
но он говорил и берёг,
и что-то такое знакомое было
в том, как без неё он не мог.

Он гладил её раскалённые грани,
он видел, он слеп от лучей,
он будто заранее помнил, что станет
лишь только её и ничей...

Когда он растаял, почуяв усталость
от света, от яви и сна,
оставшись на небе, она оказалась
в реке многозвёздной одна.

И самый ответ её, поздний по сути,
растаял в пространстве пустом;
ведь звёзды живут много дольше,
чем люди,
и голос их слышен потом.

Она отвечала «люблю», хоть от века
далёкой и странной была,
но помнила, помнила про человека,
с тех пор без него не могла...

* * *

В день, что стал тяжёл и так тревожит,
в час, когда никто помочь не может,
всё реально, жизнь одна — не две,
вспомни, что кузнечик ты в траве...

Ты глазами, что озёра сами,
смотришь в небеса, на свет с часами;
синь в зените, сыпья и слепя,
полдень бьёт специально для тебя.

А тебе нет горя: ты, как хочешь,
всё себе кузнечишь и стрекочешь,
ты куёшь на частом языке
музыку о свете, о цветке.

Ничего нет в мире больше, кроме
той травы, где ты — как будто в доме,
кроме ветра, из конца в конец,
ничего, проверенный кузнец.

В травяном лесу сквозь непролазы
зуборезы есть и вырвиглазы —
у существ зелёных на краю
затянул ты песенку свою.

Прыгая по яслям и сусекам,
насекомым зверем, человеком,
стрёкотом, безумьем на ходу —
просто кто-то должен петь в саду.

И когда звучишь ты, так отныне
в день тяжёлый лёгок на помине,
где и полуживы и мертвы —
изумрудный голос из травы.

* * *

Вот и в лице твоём — вереск потери,
в сказках-глазах — ни огня,
я ли губами тогда не проверю,
как они видят меня.

Как они любят, как они дрогнут,
вспыхнут как из пустоты,
и говорят, что горят, что всё могут,
если ты есть, если ты...

Вот ты и счастлив тогда, вот и звóнок,
вот и во взрослой груди
сердце — обиженный резкий ребёнок —
места не находи...

Чувствуя в эти минуты живучий
свет через самую тьму,
как ты негромко, но крепко прикручен
к сердцу другому, к нему.

И в этом свете улыбки-минуты,
свете лица одного —

не понимаю, но должен как будто
просто держаться его.

Просто как будто отдёрнули шторы
и отопили февраль,
и как вошла ты — во взгляде которой
самая близкая даль.

Солнце от женщины, ставшее ближе,
в самую ночь и в зарю
видишь меня ты, как я тебя вижу,
чувствую и говорю.

Женщина, что не жила, не любила,
если не ты с ней теперь,
женщина-стало, женщина-было,
женщина-просто-поверь...

* * *

Говорила гитара, как будто прося
у меня ли, у песни самой:
«Всё обман ненароком, а истина вся —
только в струнах моих, милый мой».

«Поспокойней, потише, поменьше труда» —
словно мнилось под струны её.
Так щипали, так голос подали тогда,
так поверил я: «Это моё».

Говорила со мной, говорила во мне,
говорила уже из меня
семижильная музыка — в древе, в струне,
сухожилье прожитого дня.

Шестизвонная тихая сила-волна,
как ты знаешь о сердце моём,
что проникла в него и настолько слышна,
что подумать — мы вместе поём.

Как легко от тебя и понятно без слов,
как ложишься на душу мою,
что сдаёшься на волю, что сразу готов,
что с протянутым слухом стою...

Музыкант напевал, и едва хрипотцой
отдавал его голос, звуча,
и в той песне не билось с последней слезой
ни любви, ни страстей сгоряча.

Было что-то о счастье — наивно, смешно,
невозможно, но раньше всего
так знакомо со мною совпало оно,
что я просто поверил в него.

* * *

Не за «р» с её рапсодией
прописной я всё снесу,
в обречённом слове «Родина»
заблудившись как в лесу,

не за зелень громогласную
и чумную белизну
буду что-то сметь напрасно я
и испытывать вину:

просто, даже если под руки
уведут и праздник — весь,
остаются люди всё-таки,
остаются прямо здесь.

Не смотри, что азиатчина
из земли, чья смерть добра,
воскресая в будни, вскладчину
продирается с утра —

закипит забота ранняя,
и, как ни были бы злы,
будут выстроены здания —
судьбы, стены и углы.

И средь спеха колыбельного,
о паях своих трубя,
позывное слово дельное
сберегут и для тебя,

а за слово это, станется,
ты развеешься вдали —
и вослед тебе потянется
пуловина из земли.

ЗВУК

Уходя из дома, где тесно зверю,
а в углу гитара да вещие сны,
я так страшно хлопнул входною дверью,
что оставил в воздухе звук струны.

И пока маячил, стесняясь выпасть
из обоймы, в будничном наяву,
этот звук держался, крутясь и слышась
по безлюдной комнате, на плаву.

Прописной покой наугад нарушив,
он недолго длился наедине,
он ослаб и, ставши всё глуше, глуше,
утонул в нахлынувшей тишине.

Но, наверно, было всё так недаром:
я вернулся, полон колючих чувств,
и заметил тотчас — молчит гитара,
остывают вещи, а воздух — пуст.

И, научен светом его распада,
ни межзвёздной ночью, ни местным днём
я не в курсе, кто он, что было надо,
но с тех пор в тревоге, узнав о нём.

* * *

При помощи глотки и нищей гармонии
среди свадебных дел и непрух
мужик-музыкант и бедняга в законе
ласкает общественный слух.

В горошек рубашка, меха нараспашку,
беззубо расклеенный рот,
и прямо к подножью в побитую чашку
прохожий ему подаёт.

И нет ничего в нём такого, как вроде,
поющем на тему одну,
но этим же самым в снующем народе
задевшем живую струну,

хоть знают,
по взглядам сочувственным судя,
о том, как он густ и непрост,
бездомные звери, бывалые люди
и птицы с насиженных гнёзд.

Про розы, весну и приморские скалы
он хрипло заводит тоску,
что тонет у берега чёлн запоздалый
и чьи-то следы по песку,

а в общем-то, остров судьбы, где хоть тресни
и спасшихся как ни зови,
но всё в одиночестве слушаешь песни
о времени и о любви.

Здесь нет ничего, что б роднило со смыслом,
и память о прошлом плоха,
а только лишь пальцы по клавишам быстрым
и рвущие душу меха.

ОРАНЖЕВЫЙ РАБОТНИК

Знал да стыл зимою этой
за окном через стекло
дворник-прожитое лето,
дворник-снега намело.

У него была лопата,
спецодежда и сугроб,
и от света до заката
он лопатой этой скрёб.

И как только им сметалось
всё добро, то злей всего
ничего не оставалось,
кроме снега, для него.

Был он маленького роста
и как будто бы горбат,
было здóрово и просто —
человек и снегопад.

И едва к нему с вопросом
подступали иногда —
мол, не там песка ты бросил,
убирался не туда —

не давал в ответ он спуску
и в какие гнал пути,
с тарабарского на русский
не могу перевести.

Не затем, что стыдно б вышло
или лексика не та,
просто плохо было слышно,
непонятно ничерта...

Но с утра, из сна поднятый
заценить крошечный вид,

и за ним в сиянье гладком
два оранжевых крыла,
и идёт своим порядком
отпускающая мгла...

* * *

Ты, народ, что всё пришлый кряжистый
сухожилистый продувной,
прикрывающий лица скважистой
загорелю желтизной,

нагрузи, кто в волненье пристальном
твой цветистый словарь порвёт
из шипящих с беззубым присвистом
и клубящихся вдаль широт.

Я люблю всё родней и спутанней,
как ты дышишь и тащишь впрок
и рысистой порою утренней
натираешь асфальт дорог,

бдишь на стрёме, живёшь с оглядкой,
терпишь смерть, а случись беда,
то с протянутой входишь шапкою
в подающие города.

Пусть из речи и почвы — тело нам,
ты, чей колос и хвост трубой,
что б ни сказано, что б ни сделано, —
уродящийся сам собой;

как бы ни были переполоты
голоса, а душа смурна,
только живы и только молоды
говорящие семена.

ЛЕС НА ВЫСОКОМ ХОЛМЕ

Что под круглой синью шершавый лес
у меня на глазах шумел,
рассыпался шорохом, тихо нёс
околесицу, спал и пел,

начинались листья как на духу
без задоринки из сучка,

а гнездовья дикие наверху
поживали исподтишка —

это знал я точно в жару и степь
городов, но не знал, к чему
эта хмарь дерев, эта глуть и крепь,
ровно по сердцу моему.

И когда сам лес тот над головой
шапкой зелени на холме
надрывает воздух, а ты живой
у подошвы, в своём уме,

то в кармане Камы рукав реки,
голос облака по воде —
не с тобой, конечно, и не с руки,
и ничто уже, и нигде.

Сторожá ход рыбы в гребной волне,
щёкот ястреба на лету,
ни о чём молчишь в наступающем дне,
закипая в честнóм цвету,

и из тени прошлого впереди,
из того, что ты здесь жилец,
из созревшей речи в своей груди —
появляешься наконец.

* * *

Дом построишь, посеешь древо,
человечка на свет родишь,
и глядишь — ни ствола, ни сева,
ни привета. Равнина лишь.

В день сгоревших кленовых листьев,
в месяц яблонь и год дождей
ум твой взорванный, зверь когтистый,
отрывается от людей.

Средь предсмертных предзимних красок
за шуршаньем ветров и строк
возвращается он из сказок,
понимает, что одинок.

Понимает про жизнь, про лето,
как едва заступи зима —
то ни родственников, ни света,
кроме собственного ума.

Понимает, что близких нету
одиночеству одному,
кроме дуба, что встретил где-то,
что навстречу молчит ему.

Кровь, смешавшаяся вначале,
после снега разделена:
все — чужие в своей печали,
потому что не всё весна.

Полюби тебя зверь когтистый,
приручи и к огню подвинь
не за то, что такой пушистый,
а за хмурию твою и за синь.

Не за то, чтобы было ровно,
но стояли в тепло и в снег
между нами бы крепко, кровно —
дом ли, дерево, человек...

* * *

Сорвала ты мне чертополоха,
протянула ветку: «На — возьми
и повесь у входа, если плохо,
если повелось так меж людьми,

и недоброй тёмной силы кроме,
от врагов, кто б зло подумать мог,
сохранит твой дом и всё, что в доме,
хрупкий ошетиленный цветок».

Прицепил его я над порогом,
чтобы подтвердить твои слова.
Много лет прошло, и было много
всякого, что помнится едва;

в бедах прописных, в бессонных мыслях,
в радостях простых, доступных мне,
тот цветок осунулся и высох,
но ещё кривился на стене.

Помогал ли он иной порою,
отвращал ли дьявольский порыв —
не скажу, но ты была со мною,
оберег колючий подарив,

и в надрывах буднего испуга
за счастливый взгляд да горький вздох,

как могли, любили мы друг друга
и хранили свой чертополох.

ВДАЛЬ УВОДЯЩИЕ ПРОВОДА

Часто видел я поезда
с уезжающими в окне,
отбывавшими не туда,
где привычно бы было мне,

а куда-то в тмутаракань
и за тридевять адресов,
где встречали земную рань
с расхождением в пять часов.

Но и в тихом своём доме
мне казалось, что я не смел,

что чего-то я не пойму,
раз однажды в вагон не сел,

что теперь уж не обессудь,
если в грохоте поездов –
нечто большее, чем сам путь
между точками городов,

нечто большее, чем звезда
в дребезжащем куске стекла,
та, которая навсегда
за собою тебя звала,

и мигала среди пустоты,
где дороги и неба смесь,
по которой блуждаешь ты,
оставаясь то там, то здесь.

